

Случай из жизни Макара

...МАКАР решил застрелиться.

Незадолго перед этим он чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного; ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл.

Ежедневно, с утра до ночи, тянулись они одно за другим, как разнообразно кованые звенья бесконечной цепи; глупое сменялось жестоким, наивное – хитрым, было много скотского, немало звериного, и – вдруг трогательно вспыхнет солнечной улыбкой что-то глубоко человеческое – «наше», как называл Макара эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждой, зажигают в нём жаркое желание приблизить будущее, заглянуть в его область неизведанных радостей.

Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда в небе быстро плывут изорванные ветром клочья чёрных облаков, рисуя взору странные фигуры, а внезапно между ними в мягкой глупо-

кой синеве проблеснут ясные звёзды, обещая на завтра светлый, солнечный день.

Был Макара здоров и, как всякий здоровый юноша, любил мечтать о хорошем, – жило в нём крепкое чувство единства и родства с людьми.

В каждом человеке он хотел вызвать весёлую улыбку, бодрое настроение, это ему часто удавалось и, в свою очередь, повышая его силы, углубляло ощущение единства с окружающими.

Он много работал и немало читал, всюду влагая горячее увлечение. Хорошо приспособленный природою к физическому труду, он любил его, и когда работа шла дружно, удачно – Макара как будто пьянел от радости, наполняясь весёлым сознанием своей надобности в жизни, с гордостью любясь результатами труда.

Он умел и других зажечь таким же отношением к работе, и когда усталые люди говорили ему: «Ну, чего бесишь-

В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького. В основе рассказа, который мы публикуем (в сокращении), лежит наиболее тяжёлый эпизод пребывания Максима Пешкова в Казани в 1887 году – попытка ухода из жизни. Рассказ этот Горький создал в 1912-м, почти через четверть века после произошедшего. В автобиографической повести «Мои университеты» писатель кратко изложил эту едва не ставшую бесповоротно трагической историю: «В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе «Случай из жизни Макара»... Если не говорить о литературной ценности рассказа – в нём для меня есть нечто приятное, – как будто я перешагнул через себя».

Если предпринять попытку в двух словах определить, о чём рассказ, – то, наверное, о том, что как бы тяжки, как бы невыносимы ни были обстоятельства, надежда остаётся с человеком: он способен «перешагнуть через себя». И что иногда для этого необходимо только небольшое касание извне, толика человеческого тепла, приходящего порой с самой неожиданной стороны

ся? Ведь хоть надвое переломись – всего не сделаешь!» – он горячо возражал:

– Сделаем, а там – гуляй свободно!

И верил, что если убедить людей дружно взяться за работу самоосвобождения, – они сразу могли бы разрушить, отбросить в сторону всё тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нём, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь!

Чем больше он читал книг и внимательнее смотрел на всё, медленно и грязно кипевшее вокруг, – тем острее и горячее становилась эта жажда чистой жизни, тем яснее видел он необходимость послужить великому делу обновления.

Каждое сегодня принималось им за ступень к высокому завтра, завтра, уходя всё выше, становилось ещё более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей.

Этому сильно помогали книги: тихий шелест их страниц, шорох слов, точно шёпот заколдованного ночью леса или весенний гул полей, рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы, рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли.

Уходя всё глубже в даль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжное, незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилось мерилom его отношений к людям и как бы пожирало в нём чувство единства со средoю, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, – таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара.

Сначала он заметил, что люди как будто устают слушать его речи, не хотят понимать его, и, в то же время, в нём явилось повелительное тяготение к одиночеству. Потом, каждый раз, когда его мнения оспаривались или кто-нибудь осмеивал их наивность, он стал испытывать нечто близкое обиде на лю-



дей. Его мысли дорого стоили ему: он собирал и копил их в тяжёлых условиях, бессонными ночами, за счёт отдыха от дневного труда. Был он самоучка, и ему приходилось затрачивать на чтение книг больше усилий, чем это нужно для человека, чей ум приспособлен к работе с детства, школой.

Утратив ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал, но слишком живой и общительный для того, чтобы долго выносить одиночество, Макар пошёл к людям другого

круга, но в их среде, – ещё более и даже органически чуждой ему, – он не встретил того, что искал, да он и не мог бы с достаточной ясностью определить, чего именно ищет.

Он просто чувствовал, что в груди у него образовалось тёмное, холодное зияние, откуда, как из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое, тревожное чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми.

Люди нового круга были ещё более книжны, чем он, они дальше его стояли от жизни, им многое было непонятно в Макаре, он тоже плохо понимал их сухой, книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие.

У этих людей была неприятная привычка: представляя Макара друг другу, они обыкновенно вполголоса или шёпотом, а иногда и громко добавляли:

– Самоучка... Из народа...

Это тяготило Макара, как бы отодвигая его на какое-то особенное место. Однажды он спросил знакомого студента:

– Зачем вы всегда говорите, что я самоучка, из народа и подобное?

– Да ведь это же, батя, факт!

Как бы там ни было, в этой среде Макар не мог укрепить свою заболевшую душу. Он пробовал что-то рассказывать о затмении души, был не понят и отошёл прочь, без обиды, с ясным ощущением своей ненужности этим людям. Первый раз за время своей сознательной жизни он ощутил эту ненужность, было ново и больно.

Потом, вероятно, сказались переутомление, отозвались ночи без сна, волнующие книги, горячие беседы, – Макар стал чувствовать себя физически вялым, а в груди всегда что-то трепетало, нервы, как будто проколов кожу, торчали поверх неё, точно иглы, и каждое прикосновение к ним болезненно раздражало.

Макару было девятнадцать лет, он считал себя неутомимо сильным, никогда не хворал, любил немножко похва-

статься своею выносливостью, а теперь он стал противен сам себе, стыдился своего недомогания, стараясь скрыть его, едко осуждал сам себя, но всё это плохо помогало, и тревога, ослабляющая душу, становилась тяжелей...

В то же время он почувствовал себя влюблённым, но – не мог понять, в кого именно: в Таню или в Настю, – ему нравились обе. Полногрудая, высокая и стройная приказчица Настя только что окончила учиться в гимназии, радуясь свободе, она весело и ясно улыбалась всему миру большими, тёмными, как вишни, глазами и показывала белые, плотные зубы, как бы заявляя о своей готовности съесть множество всяких вкусных вещей. Таня была маленькая, голубоглазая, белая, точно маргаритка, она со всеми говорила ласково, слабеньким, однообразно звеневшим голосом, мягкими, как вата, словами и смеялась тихим, тающим смехом.

Макар не скрывал своих чувств перед ними, и это одинаково смешило подруг, – они были весёлые. Он же подходил к ним, как бездомный, иззябший человек подходит зимней ночью греться около костров, горящих на перекрёстках улиц, ему думалось, что эти умненькие девушки могут – та или другая, всё равно – сказать ему какое-то своё, женское, ласковое слово и оно тотчас рассеет в его груди подавляющее чувство обрешенности, одиночества, тоски.

Но они шутили над ним, часто напоминая ему о его девятнадцати годах и советуя читать серьёзные книги, а усталая голова Макара уже не воспринимала книжной мудрости, наполняясь всё более тёмными думами.

Их было бесконечно много, они как будто давно уже прятались где-то глубоко в нём и везде вокруг него; ночами они поднимались со дна души, ползли изо всех углов, точно пауки, и, всё более отъединяя его от жизни, заставляли думать только о себе самом. Это были даже не думы, а бесконечный ряд воспоминаний о разных обидах и царапинах, в своё время нанесённых жизнью и, казалось, так хорошо забы-

тых, как забывают о покойниках. Теперь они воскресли, оживились, непрерывно вился их хоровод – тихая, торжествующая пляска; все они были маленькие, ничтожные, но их – много, и они легко скрывали то хорошее, что было пережито среди них и вместе с ними.

Макар смотрел на себя в тёмном круге этих воспоминаний, поддавался внушениям и думал:

«Никуда я не похужу. Никому не нужен».

А вспомнив горячие речи, которыми он ещё недавно оглушал людей, подобных себе, внушая им бодрость и будя надежды на лучшие дни, вспомнив хорошее отношение к нему, которое вызывали эти речи, он почувствовал себя обманщиком и – тут решил застрелиться.

Это тотчас успокоило его, он почувствовал себя деловито и рачительно начал готовиться к смерти.

Пошёл на базар, где торговали всяким хламом и старьём, купил там за три рубля тяжёлый тульский револьвер; в ржавом барабане торчало пять крупных, как орехи, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью. Ночью он тщательно вычистил оружие, смазал керосином, наутро взял у знакомого студента атлас Гиртля, внимательно рассмотрел, как помещено в груди человека сердце, запомнил это, а вечером сходил в баню и хорошо вымылся.

* * *

Он шёл пустынной улицей к выходу из города и уже видел перед собою синюю даль заречных лугов, с тёмными пятнами кустарника на них и белыми – это озёра, гладко покрытые снегом.

Смотреть туда, где потерялась черта между небом и землёю, было хорошо, и даль тоже смотрела в глаза человека ласково, кротко, словно она была в полном согласии с ним и, немножко жалея его, тихо манила к себе.

Левую руку Макар сунул в карман, правую держал за пазухой, сжимая в ней тяжёлый тёплый револьвер; шёл,

ни о чём не думая, и был доволен спокойной пустотой в груди и в голове. Сердце сжалось, стало маленьким, неслышным.

Тёмный ночной сторож стоял у ворот, разговаривая с котёнком, прижавшимся на лавочке, во впадине фальшивой калитки; в тишине ясно звучал простуженный голос, ломая слова:

– А-ах ты, кошкина кот...

Макар остановился, посмотрел и спросил:

– Подкинули?

Сторож повернул к нему мохнатое, седое от инея лицо с косыми глазами.

– Это – тута, афисершам-баринам, она – его, моя знайт... Замёрзнит котёнкам?

– Пожалуй – замёрзнет, – согласился Макар.

Татарин, ощипывая лёд с подстриженных усов, смешно морщился и, добродушно поблёскивая маленькими глазами, отрывисто говорил:

– Перекину через забор – убьётся?

– Снег на дворе есть?

– Не знай...

Макар подумал, оглянул маленький, сонно закрывший окна дом и спросил:

– А сад не этого дома?

– Нет! – сожалея, сказал татарин. – Я думал бросить в сад, а там – высокий забор, ему не перелезти, он маленький...

Тогда Макар сказал:

– Да ты возьми его за пазуху тулу-па, вот и будет ладно: и ему спасенье, и тебе теплей, веселей...

– Верна! – согласился сторож, нагибаясь к дрожавшему зверьку.

– Прощай, брат...

– Прощай...

Макар пошёл дальше, всё так же не спеша, глядя в пустынное поле под горою, а оно развёртывалось шире и шире, как будто хвастаясь своей необъятностью, прикрытое синею мутью и тихое, как спокойный сон.

Встреча с татариним и котёнком тотчас же отступила далеко назад, – тоже стала как сон или воспоминание о давно прочитанной странице какой-то простой и милой книги.

Вот он и на избранном месте, на краю крутого ската к реке, покрытого грязным снегом с улиц и дворов. Слева – белая каменная ограда монастыря и за нею храм, поднявший к звёздам свои главы, недалеко впереди, за буграми снега, вытянулся ряд неровных домов окраинной улицы; кое-где сквозь щели ставен ещё тянутся в синеву ночи, падают на снег жёлтые ленты света. Между белыми крышами домов – белые деревья, точно облака, а ветки, с которых осыпался иней, чёрные и похожи на полустёртую надпись в небе, освещённом невидимой луной. Очень тихо...

Он подошёл к самому краю, осторожно ощупывая ногой снег, боясь оступиться и упасть под гору раньше времени; найдя твёрдое место, прочно встал на нём, снял шапку, бросил её к ногам и, вынув револьвер, расстегнул не торопясь пиджак, потом выпрямился, взвёл тугой курок, нащупал сердце и, приставив дуло вплоть к телу, нажал большим пальцем собачку, – щёлкнуло, он вздрогнул, закрыл глаза...

И с головы до ног вспыхнул, поднял револьвер к лицу, с испугом глядя в барабан, на тусклые пульки, кукишами сидевшие в нём.

«Неужто не стреляет?»

Незаметно для себя, он снова дёрнул собачку, – бухнул выстрел, больно дёрнув за волосы, мимо уха свистнула пуля – Макар тотчас же опустил руку и выстрелил в грудь.

Этот выстрел был громче, от него всё вздрогнуло – подпрыгнули дома окраины перед глазами Макара и поплыли на него; тупой толчок пошатнул, отдался в спине, бросил лицом в снег, снова стало удивительно тихо...

Макару показалось, что он долго лежал, ничего не видя и не слыша, как будто его не было, потом он услышал, как шипит в груди, почувствовал, что рубаха становится влажной и в нос бьёт какой-то особенный, неприятно сладковатый, жирный запах. Тотчас же в голове стало ясно, – он понял, что ему не удалось скатиться вниз и что он не убил себя.

«Надобно ещё», – решил он и пере-

вернулся лицом вверх – тогда и грудь, и спину ожгла острая боль, точно голое тело опоясал жестокий удар кнута, – он крякнул, перемогся и, нащупав на снегу холодный револьвер, глядя в небо, где качались, опускаясь и поднимаясь, звёзды, снова приложил дуло ко груди.

Озябший палец дрожал, приклеивался к собачке и уже не имел силы спустить курок – Макар отвёл руку, разжал пальцы и подумал сквозь сон:

«Может, и так умру...»

Вытянулся, слушая шипение крови и ощущая ясный, хорошо знакомый запах горячей тряпки. Звёзды скользили и прыгали в небе, как в чаше, которую кто-то опрокинул и хочет вытряхнуть из неё золотые блёстки. Иногда всё исчезало, точно вдруг прикрытое невидимым облаком. И внутрь, в кости ног и рук, в голову, – проникал мучительный холод, судорожно сжимая тело, как бы связывая его узлом.

* * *

...Тяжело подкатился мохнатый, круглый человек, закричал испуганным, воющим голосом и накидал на грудь Макара кучу снега, – от этого юноше стало как будто легче и понятнее. Подбежал ещё человек, Макара подняли, повели, тяжёлые, точно чужие ноги страшно мешали ему, они сделались невероятно длинными, оставаясь где-то сзади, – он сказал:

– Ноги подберите...

– Биром! – крикнул кто-то прямо в ухо ему.

Его опрокинули, понесли, но каждое движение раздёргивало грудь ему рвущей болью, опустошая голову, и эта тяжёлая, холодная пустота тянула к земле, вызывая желание крепко уснуть.

Что-то чёрное – большие кубы и полосы – двигалось мимо него, перед глазами вспыхивали жёлтые пятна, металась люди – тоже чёрные, круглые и крикливые.

Макар качался в воздухе, скрипя зубами, и чувствовал, что его охватывает мучительный страх пред этой пустотой,

этот страх побеждал боль, внушая мысли, которые вдруг вспыхивали синим огнём:

«Умирает голова... схожу с ума...»

И, напрягая остатки воли, он старался побороть пустоту – перечислял про себя всё, что текло и волновалось перед глазами.

«Чёрное – дома, заборы, жёлтое – окна... Меня несёт сторож, татарин, за пазухой у него котёнок... Другой – полицейский...»

Он вслушивался в быстрый говор людей, метавшихся, точно вороны вокруг колокольни.

Все звуки были странно тусклы и, в то же время, невероятно громки, они садко влеплялись в уши и болезненно гудели в голове, но Макар напряжённо хватал их и старался закрепить в памяти, заполнить ими пустоту, одолевавшую его.

– Не узнаете, – бормотал он, то проваливаясь куда-то в глубокую яму, то снова с болью вылезая оттуда.

– Стой! Клади! Айда, барабус, в часть, живо, ну!

Макар ткнулся лицом в рогожу, под нею зашуршало сено, его тряхнуло, подбросило и закачало. Кто-то приподнял голову его большими руками, прижал щеку к мягкому и тёплому и унылым голосом затянул:

– Кошкам-та, зверям – жалел, себя вовсе не жалел... ух, без ума голова...

– Я тебя знаю! – с внезапной ясной радостью сказал Макар. – Ты сторож, татарин...

– Молчай, уж... такой морда!

Макар хотел глубоко вздохнуть, но сорвался и, крикнув, нырнул куда-то во тьму.

Потом, точно после падения с длинной и высокой лестницы, он лежал перед крыльцом какого-то дома, в глаза ему колко светил фонарь, и сизый, высокий человек, стоя на крыльце, убедительно говорил:

– Ну – дураки же, черти, ну – куда же его?

И гаркнул – зарычал:

– В Покровскую, пр...

Широкие полозья розвальней шаркнули по снегу, снова начало встряхивать, наполняя грудь острой болью, как будто в неё вбили тяжёлый гвоздь, но – не плотно, и он качался там.

По синему небу быстро убежали звёзды, за белыми крышами катился, прячась, жёлтый круг луны, обломанный с одного края. Мягко подпрыгивая, плыли вдаль огромные дома, связанные друг с другом заборами, – всё уходило из глаз, точно проваливаясь.

– Так себе – нилза, – говорил татарин, дёргаясь, словно он хотел выпрыгнуть из саней, а полицейский сердито ворчал:

– А ты из-за него мёрзни...

«Это из-за меня», – сообразил Макар, чувствуя себя виноватым перед татаринном, он толкнул его рукою и сказал:

– Прости, брат...

– Молчай... Бульна убил?

– Больно...

– Сачем? Алла велит эта делать?

...Макару показалось, что он, сидя в лодке, гребёт против течения так, что ноют плечи, а какие-то рыжие и густые, как масло, волны треплют лодку, заглядывая через борта, не пуская её; потом он мчался по Моздокской степи на злой казацкой лошадке, собирая разбежавшийся табун; на краю степи лежало большое багровое солнце, мимо него мелькали эти маленькие, озорные лошади, целясь, как бы укусить Макара за ногу, скаля огромные зубы и взмахивая хвостами.

Вдруг перед ним широко и бесшумно распахнулась стеклянная дверь, потом – другая, и татарин сказал:

– Прощай...

Это было так грустно и хорошо сказано, что на глазах Макара выступили слёзы и он тихонько засмеялся.

В тёплой тишине он шагал вверх по широкой лестнице, – идти было больно, и казалось, что он идёт вниз. Его поддерживал под руку человек в белом, с рыжими усами и большим красным лицом, оно кружилось, точно колесо, усы лезли к ушам, нос двигался – Макар сразу понял, что это неприятный человек.

– Позовите ординатора Плюшкова...
– Смешная фамилия, – сказал Макар, с этим рыжим необходимо было говорить о чём-нибудь.

– Не твоё дело, – ответил рыжий, вводя его в маленькую комнату, где сверкало много стекла, усадил на стул и, стаскивая пиджак, потянув большим носом, спросил:

– Стрелялся – пьяный?

– Трезвый.

– Значит – дурак.

Он сказал это до такой степени просто и уверенно, что Макар не только не обиделся, а засмеялся, но – смеяться нельзя было: хлынула горлом кровь и обрызгала белый халат рыжего.

– О, чёрт, – вскричал он, отскочив и встряхивая полу.

Ведя сам себя за бороду, в комнату вошёл человек с весёлым и приятным лицом.

– Нуте-с?

– Огнестрельная рана в область сердца.

– Самоубийство?

– Да.

– Ясно. На стол!

Лежать на столе голому было и холодно и больно, но Макару не хотелось, чтобы эти люди знали его боль, он закрыл глаза, ослеплённый светом, падавшим сверху, и сказал:

– Жить стало трудно.

– Ерунда! Это выдуманно лентяями и бездельниками.

Макар стал спускать ноги со стола, рыжий строго сказал:

– Куда это?

И схватил его за ноги железными нагретыми руками так, что Макар не успел сказать, что он не нуждается в их возне и что лучше уйдёт к татарину.

Ординатор наклонился над ним, разглядывая грудь.

– Ожог! И здоровый...

Макар посмотрел на его большое красное ухо, думая:

«Укусить бы...»

Но ординатор воткнул в него зонд и, пригвоздив к столу, на минуту задавил все мысли.

– Здорово просажено! Сквозная, что ли? Нуте-с, перевернём его!

Перевернули, внушив Макару желание лягнуть их хорошенько, но он не мог поднять тяжёлые ноги. А ординатор весело бормотал:

– Во-от она, тут, под кожей... Сейчас, чуточку... готово!

Пуля упала во что-то металлическое.

– Такой здоровенный парень, и такую глупость содеять? Не стыдно, нуте-с?

– Не балагурьте, – проворчал Макар.

Он сам уже давно когда-то догадался, что сделал глупость, – это злило и угнетало его. Ему было нестерпимо стыдно перед рыжим и весёлым ординатором, было жалко татарина. Хотелось попросить, чтобы с ним не говорили или говорили как-то иначе, но слова разбегались, точно просыпанные бусины, собрать их в ряд не удавалось, да и тело как будто таяло в огне, разливаясь по столу. Являлись какие-то неуловимые мысли, но тотчас, как мыльные пузыри, улетали в пустоту, угасая там...

* * *

Но вдруг случилось что-то неожиданное и простое, что сразу поставило его на ноги: однажды в палату вошли трое знакомых людей – весёлый, чёрный, как цыган, пекарь и ещё двое: кособокий подросток, с лицом хорька, и здоровый, широкоплечий, сердито нахмурившийся парень.

Виногато улыбаясь, ласково моргая глазами, сконфуженные чистотой больницы, они остановились у двери, оглядывая койки.

– Вон он, – тихо вскричал пекарь, указывая пальцем на Макара и оскалив белые зубы.

Точно боясь проломить пол, они на цыпочках, гуськом подошли к нему, пряча за спиною тёмные руки с какими-то узелками в них, двое улыбались ласково, третий – сумрачно и как бы враждебно.

– Во-он он, – повторил пекарь, по-

бабьи поджимая губы и дёргая себя за чёрную бородку обожжённой рукою в красных шрамах, а подросток уже совал Макару бумажный пакет и, захлёбываясь словами, говорил тихонько, торопливо:

– А лимоны, отличные... с чаем будешь...

– Здрóрово! – сказал широкоплечий парень, сердито встряхнув руку Макара.

– Ну – как? Похудел...

– Не больно! – подхватил пекарь. – Конечно – болезнь не ласкает, а ничего! Мы – поправимся, во – ещё! Накося тебе: сушки тут, чаю осьмуха, ну – сахар, конечно...

– Курить – дают? – спрашивал сердитый парень, опуская руку в карман.

– Братцы, как я рад, – бормотал Макар, взволнованный почти до слёз.

– Не дают – курить? – глядя в сторону, угрюмо допрашивал парень, шевеля рукою в кармане синих пестрядинных* штанов. – Ну, пёс с ними! Я и табаку припас, и леденцов: когда курить охота, ты – леденца пососи, всё легче будет... хоша и не то! Чистота у тебя тут, ну-ну-у!..

Макар видел, что двое отчаянно притворяются весёлыми и развязными, а третий, напрягаясь до пота, хочет казаться спокойным, – и всем не удаётся игра: три пары глаз жалобно мигают, мечутся, бегая из стороны в сторону, стараясь не встречаться друг с другом и не видеть Макаровы глаза.

– Ну – спасибо! – бормотал он, задыхаясь.

Они сели, двое на койку, один – на табурет, подросток превесело спросил:

– Когда на выписку?

Пекарь сказал:

– Чего спрашивать? Сам видишь – хоть сейчас!

А третий деловито посоветовал:

– Ты, брат, как снимешься, к нам вались!

И заговорили вперебой все трое:

– Конечно...

– Работу выищем полегче...

– Тут – праздники, рождество...

– Скучно лежал?

– Конечно, что спрашивать?..

– Так-то вот...

Дрожащими руками Макар хватал их жёсткие руки, смеясь, всхлипывая...

– Ах, братцы... чёрт возьми...

Они вдруг замолчали, и сквозь слёзы Макар видел, что нарочитое оживление их исчезло, три пары глаз покраснели, и вдруг за сердце его схватил тихий шёпот:

– Э-эх, ты! Как же это ты, а?

– Уда-арил ты на-ас...

Третий голос добавил также тихо, но внушительно:

– А ещё говорил – братцы, говорил, правда, говорил...

– Разве этак можно?

– Братцы, говорил, а сам?..

Смеясь, плача, задыхаясь от радости, тиская две разные руки, ничего не видя и всем существом чувствуя, что он выздоровел на долгую, упрямую жизнь, Макар молчал.

Сердитый парень, деловито покрывая голую грудь Макара одеялом, ворчал:

– Да, брат, говорил, говорил, а сам вон что... Однако же не простудить бы тебя, мы народ с воли, холодный...

За окнами густо падал снег, хороня прошлое...



* Пестрядинные – сшитые из грубой льняной или хлопчатобумажной ткани из разноцветных ниток, обычно домотканой.